

В память о Клоде Леви-Стросе



**Вячеслав Всеволодович
Иванов**

Калифорнийский университет,
Беркли, США
ivanov@humnet.ucla.net

Когда умирает большой человек, столько значивший для тебя и для друзей вокруг, думаешь прежде всего о первом знакомстве — в этом случае через им написанное, потом обо всем его облике, постепенно тебе открывавшемся, — и сквозь его сочинения, и из-за людей, с ним связанных,

потом и благодаря завязавшейся с ним переписке, и, наконец, до тебя вдруг по-новому доходит (как портрет, меняющийся после смерти изображенного) его подлинное значение, посмертно вспыхивающий ореол, который будет теперь сопровождать его имя.

Попробую в таком примерно порядке распутать еще сбивчивые ощущения этих дней после получения печального известия о его уходе.

Так много в жизни и в сделанном и мною самим, и спутниками по науке, было сопряжено с Леви-Стросом, что теперь нелегко вспомнить, как изначально возникало ощущение близости. У меня, вероятно, от первого прочитанного текста. Скорее всего это было большое интервью о структурализме (вместе с Романом Якобсоном и еще с кем-то), кажется, записанный разговор по радио, помещенный на страницах «Lettres Françaises» — одного из тогда (в нашей студенческой молодости) редких иностранных повременных изданий, до нас без труда доходивших.

Несколько запоздалое (как все подлинное, что приходило тогда с Запада) открытие Леви-Строса в русской науке конца 1950-х — начала 1960-х гг. было частью возрождавшегося интереса ко всему унаследованному от предыдущей эпохи «бури и натиска», живописи Малевича и музыки Стравинского, поэзии Хлебникова (одновременно поэта и создателя системы уравнений, описывающих историю). Поэтому и в Леви-Стросе пленяло прежде всего его художественное начало, все больше раскрывавшееся по мере его погружения в американскую индейскую мифологию и делающее его труды в этой области в равной мере и научными исследованиями, и началом нового синтеза науки и искусства. Структурализм увлекал той эстетической его стороной, которая и определила возможность соединения с математикой — как в первой большой книге Леви-Строса о структурах родства, когда он сотрудничал с видным алгебраистом Андре Вейлем. Позднее пристрастие к математикоподобным видам гармонии вело к сближениям с формулами, внешним видом напоминающими математику, как условная запись мифов в последующих леви-стросовских книгах по мифологии. Окончательно эта сторона Леви-Строса как художника, артиста и ценителя искусства выразилась в поздних его сочинениях, учащих читателя обращению к вершинам прежней французской культуры. Но это обращение вспять, как потом и для нас в России, начиналось с возврата к нашим недавним истокам — к «безумным двадцатым годам», вдохновлявшим наших родителей в их молодости.

Структурализм мы тогда воспринимали как свое, как признанного в Западной Европе взрослого, который ребенком учился уму-разуму в России на сборищах, где участвовали наши университетские учителя, помогавшие ему (как потом нам) вырасти. Я еще не слышал от Романа Якобсона, как Леви-Строс слушал его фонологический курс о звуках и значениях, прочитанный в Нью-Йорке беженцам из разных европейских стран, согнанных ужасами гитлеризма в Институт Высших Исследований. Там от блестящего представителя русской опоязовской школы Леви-Строс узнает о методах, которые ему помогут многое изменить и понять по-новому в науке о человеческих культурах. А когда Якобсон весной 1956 г. приехал в Москву (впервые после начала его эмиграции), Леви-Строс и обсуждение основного в антропологии, что ее связывает с лингвистикой и семиотикой, стало одной из главных тем наших бесед. И это продолжалось до последнего разговора в Москве в 1968 г., когда Роман отчетливо сформулировал намеченный им тогда вместе с Леви-Стросом перечень универсалий, определяющих многоэтажную (многоуровневую) структуру основных человеческих установлений. Человек использует (в отличие от животных, включая и остальных высших приматов) звуки не сами по себе (в отдельных сигналах, которыми обмениваются и прочие млекопитающие), а как фонемы в составе слов-знаков, различающихся входящими в них фонемами. С этим оба ученых сопоставили производство орудий посредством других орудий и использование брачных правил и запретов (включая универсальный запрет инцеста) для создания социальной организации. Лингвистика в целом со своим изучением обмена высказываниями оказывалась частью антропологической науки о разных типах обмена, впервые как «основной социальный факт» открытых Моссом. Я полагаю, что благодаря Роману я, Владимир Николаевич Топоров и наши общие союзники по сформировавшейся «московско-тартуской» семиотической школе были вовлечены в непрерывное общение Леви-Строса с Якобсоном, длившееся начиная с тех нью-йоркских лекций и прервавшееся только из-за смерти Романа. Когда мы с Топоровым начали всерьез заниматься структурным и семиотическим описанием ранней славянской мифологии, постоянными соучастниками обсуждений стали часто наведывавшийся в те годы в Москву Роман и — в качестве заочного собеседника — Леви-Строс, о разговорах с которым Роман нам рассказывал. Мы узнавали и детали настроений Леви-Строса, которые тот открывал Роману — полосу мрачных размышлений после самоубийства Метро, оставившего свой осуждающий разбор всего,

что для культур народов третьего мира должна была бы сделать и не делала ООН. Верный последователь Руссо, признанного им как родоначальник современной антропологии, Леви-Строс оставался в современном столкновении культур на стороне тех, кто свою унаследовал от каменного века. Когда Леви-Строс сообщал о себе, что в нем говорит мифологическая мысль как таковая, он по праву вписывал себя в число создателей американской индейской (и всемирной) мифологии, продолжающей свой путь вместе с современной наукой, ею увлеченной и на нее во многом похожей. Оттого, читая «Мифологические», мы погружались и в мир индейских мифов и в описанную в них жизнь раскрытых Леви-Стросом человеческих и природных — особенно зооморфных — их персонажей.

Интересно одно замеченное мною тогда отличие Якобсона от его ученика, соавтора и друга. О первом томе «Мифологических» Роман вдруг отозвался с резкостью, которой никогда потом по поводу Леви-Строса я от него не слышал и никогда не ожидал услышать. «Что это за Андрей Белый?» — спрашивал он чуть ли не возмущенно, одновременно и повторяя, что не может простить французам их увлечения Вагнером. В то время он сам достаточно отошел уже от ранних экспериментов своей молодости, скрадывавших различие искусства и науки. В Якобсоне вдруг заговорил футурист, когда-то отрицавший опыты символиста Андрея Белого, отчасти подражавшего композитору Вагнеру в своих прозаических «Симфониях». Мне самому и немногим моим тогдашним единомышленникам именно опыт Андрея Белого по созданию экспериментальной эстетики и математического стиховедения с одновременным приложением выводов новой науки к собственному поэтическому и прозаическому творчеству казался самым плодотворным во всем нашем открываемом заново наследии. А для Леви-Строса такое слияние разных сторон человеческой деятельности становилось едва ли не все более значимым. Он строил первый том тетраптиха по образцу музыкального большого сочинения в духе вагнеровских (в Вагнере вместе с Дюмезилем и Гране он видел одного из предвестников структурного подхода к мифам). В этой антропологической симфонии Леви-Строс демонстрировал ту часть своего творческого импульса, которая у него всегда оставалась одной из главных. Отсюда и роль иллюстраций во всех его последующих книгах. Именно этой стороной своего соединенного — научно-художественного — соиздания Леви-Строс особенно влиял на нас, в том числе и на наше участие в «Мифах народов мира», которые, как и другие сочинения, изданные при сотрудничестве с входившими в наш московско-

тартуский клуб, на время стали популярными у традиционно разносторонней тогдашней русской интеллигентской публики.

Первого тома «Мифологичного» тетраптиха не было еще в Москве — нам с Топоровым его одолжили польские друзья, мы с ним вернулись с Варшавского семиотического симпозиума. Первая наша с Топоровым книга о мифологии начинается с сопоставления наших планов с уже сделанным Леви-Стросом в «Сыром и вареном». Четвертый том тетраптиха — «Нагого человека» — я получил в подарок тоже в Польше от одной из продолжательниц структуралистских литературоведческих идей Якобсона — Р. Майеновой.

К тому времени мы уже были прилежными читателями Леви-Строса. Некоторые его работы вскоре были переведены на русский и напечатаны, как этуод о мифе об Эдипе и совместная с Якобсоном статья о сонете Бодлера. Мне довелось стать сопереводачиком и редактором русского перевода первого издания «Структурной антропологии», сложность построения фраз которой я оценил на практике, вникая в трудности их передачи на другой язык (сперва меня думали привлечь и к переводу «Печальных тропиков», но потом издательство со страху отказалось от мысли о полном переводе и хотело урезать книгу — Леви-Строс по мере роста его популярности становился все опаснее для режима, сопротивлявшегося любой рациональной мысли об устройстве общества, становившегося все более абсурдным). В те годы я прочитал, вероятно, почти все им написанное (и кое-что из уже тогда огромной литературы о нем как об одном из властителей дум — *Modern masters* — двадцатого века, об «антропологе как герое»). Я написал эссе о нем, поместить его в том русского перевода «Структурной антропологии» было трудно — издательство и те правящие этнографы, которые им управляли, пугались. Но Россия часто открывает неожиданные обходные пути — «щели», куда удается проползти, минуя официальные запреты. Статью напечатал (вместе с переводом главы, в которой Леви-Строс развивал идеи великого биолога д'Арси Томсона о преобразованиях — я бы теперь назвал их топологическими — схем живых существ) научно-популярный журнал «Природа». Я этот номер послал Леви-Стросу, он статью прочитал по заказанному им переводу ее на французский. Он написал мне, что особенно его заинтересовало предложенное мной сопоставление со Шпетом. По мере того как Шпета у нас переиздают и открывают заново, становится яснее и значение задуманной им этнической психологии — ее философские идеи я и сравнивал с леви-стросовскими.

Продолжение нашей переписки было вызвано моей попыткой найти параллели тому мифу о Разорителе орлиных Гнезд (*Dénicheur des aiglons*), который Леви-Строс в своем исследовании мифологии американских индейцев признал особенно древним. Он обратил внимание на совпадение варианта мифа, найденного у индейцев в тропических лесах Бразилии, и того сходного мифа, который открыт у элишских племен Северной Америки в Скалистых горах. Велико было мое изумление, когда очень похожий миф я обнаружил в сказке, записанной у кетов — народа на Енисее, который изучала наряду с первоклассными сибирскими специалистами (такими как А.П. Дульзон) устроенная мною особая экспедиция. Леви-Строс живо откликнулся на мои предположения об этом мифе и поделился своими встречными догадками; к ним он возвращался и в последующие годы, что делало очевидным, как долго продолжал он размышлять об описанном мною западно-сибирском варианте (позднее выяснилось, что след того же мифа есть в самой древней письменной мифологии — шумерской, чем удостоверяется необычайная древность прототипа этого повествования). Мне кажется значимым то, что возражения против Леви-Строса, как будто бы отрицавшего историю (как утверждалось в полемике с ним у Ж.-П. Сартра), опровергаются практикой исследования: именно ему удалось обнаружить один из самых ранних мифов человечества.

Последней темой нашей переписки послужил мой замысел семиотического журнала «Elementa». На мое письмо о плане его издания Леви-Строс ответил сочувственно. По этому поводу он еще раз подтвердил свою приверженность тому направлению, которое связано с именем Романа Якобсона.

Читая письма Леви-Строса, перечитывая его труды, составившие целую полку в здешней моей домашней библиотеке (последнюю часть которых я получил от него во время последующей нашей переписки) и слушая рассказы о нем людей, его хорошо знавших, я пытался понять, что в его научном опыте и сочинениях особенно близко. Он принадлежал к молодому поколению, которое в предвоенные годы прошло через увлечения психоанализом, французским сюрреализмом и марксизмом (я не мог не согласиться с данной им высочайшей оценкой «18-го брюмера Луи Бонапарта», страницы которого он нередко перечитывал, а я вслед за ним пробовал делать то же самое, всякий раз находя необычное — например, сближение людей типа Луи Бонапарта или Брежнева с циркачами, которые им закономерно сопутствуют). В науке эти ранние веяния, помножившиеся на социо-

логию школы Дюркгейма (вдохновителя соссюрговской и последующей семиотики), подкрепились позднейшим знакомством с великими американскими антропологами, а потом — с нашим русским формализмом и последовавшим пражским структурализмом, в частности с принципами построения системы двоичных оппозиций. То новое, что привнес в это наследие Леви-Строс, кажется связанным с его личностью. Он на стороне не только науки, но и людей, которых впервые встретил в бразильских зарослях, — дикарей, а не только профессоров, их описывающих. В эпоху компьютерных вычислений он продолжает отстаивать значение первобытного бриколажа — то, что Выготский назвал «комплексным мышлением» в противопоставлении понятию.

В конце позапрошлого века Гоген показал пример того, как современный художник находит решение вставших перед ним проблем, переселяясь всем своим существом в мир представлений, чувств, образов, отличных от традиционных европейских. Этот опыт позднее был повторен и несколькими замечательными антропологами, проводшими, подобно Гогену, несколько лет на островах Океании. Леви-Строс сам называл одного из них — Хокарта — среди предшественников своих структурно-антропологических работ. Сейчас заново открывают и значение сходного в этом отношении с ними обоими Малиновского (у того когда-то учились методу функционального исследования лингвисты Курилович и Станг, ездившие для этого специально в Лондон). «Мысль дикаря» при ее новом открытии оказывается созвучной современности — тому двадцать первому веку, который по словам Леви-Строса станет веком гуманитарных наук (или его не будет — утверждал Леви-Строс почти угрожающе).

Те из нас, кто вместе с Леви-Стросом надеются, что история имеет продолжение (не ужасное и не катастрофическое), говорят о необходимости объединения сытых и голодных, богатых и бедных, образованных и все еще безграмотных внутри одного всемирного целого, которое бы регулировалось тем, что условно называют «мировым правительством». Леви-Строс был против бюрократических систем. Он полагал, что и связанное с их появлением изобретение письма помешало жизни ранних процветающих обществ с их мифами и первобытной дикарской наукой. Но он был за то, чтобы дать возможность сбережения накопленного и продолжения и этим древним драгоценным частям нашего общего наследия. Обдумывая будущие пути сохранения и всего человечества, и отдельных его ветвей, в том числе и особенно отличающихся от

преобладающей глобальной цивилизации, мы постоянно будем вспоминать об идеях и трудах Леви-Строса во всей их неповторимой парадоксальности и необычности.

Вячеслав Вс. Иванов

14 ноября 2009 г.